

ПО ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ

В самом начале я иду к бабушке. Зимняя учебная суббота, всего четыре урока. На географии показывали карту звёздного со складками неба. Небо темнело у доски, но поверить в него было сложно, потому что за окном — яркое солнце. И даже техничка, которая грелась у раздевалки на этом солнце, стала доброй и провожала нас ласково: «Бегите, бегите...» На улице морозно, около моего дома старается котельная, из трубы поднимается пар, не согнутый ветром. Яркая лестница в подъезде. Дома пахнет блинами, мама, нечёткая в дыму, стоит у плиты. Я поел, собрал портфель с тетрадями на выходные и пошёл к бабушке.

Хотя, кажется, я не видел никакого начала. Мир задолго до меня лёг на девятиэтажки нашего посёлка и покачивался. Зимой выяснилось, что если полчаса ехать по лесу на лыжах, а потом кататься с холма под соснами, то этот холм — то самое место, где я летом собирал маслята, под снегом — река. Как находчиво всё

устроено, удивился я. А если пройти дальше за школу милиции, то в конце концов придёшь к памятнику павшим воинам, а за памятником, когда писаешь, открывается склон, далёкий лес и железная дорога. Как красиво, удивился я. Путь к бабушке знакомый — десять минут через гаражи и больничный двор. В гаражах мужики чистят снег деревянными широкими лопатами, из приоткрытых ворот подмигивают машины или, если меньше денег, циклопом смотрит мотоцикл. Я иду прямо, потом налево, но обязательно поворачиваю голову вправо: там, в конце линии, есть гараж, в котором повесился прапорщик. В заборе больничного двора проделана дыра, ею все пользовались, сокращая дорогу. В больничном дворе по снегу ловчит узенькая тропинка, топчется только около трубы, через которую приходится перелезать. Впрочем, я перепрыгиваю легко, ребёнок, суббота. Я смотрю в окна больницы: на первом этаже всё занавешено белым, там реанимация и берут анализы, а со второго этажа и выше окна свободные, чистые, в некоторых стоят от скуки люди. Я знаю, что соседка Тамара лежит сейчас в кардиологии, и думаю: вдруг она видит меня?

Наш посёлок тянулся вдоль Московского шоссе, но недолго, не успевал разбежаться. Его бросили строить, слегка надрезав лес домами. Казалось, что кому-то надоело. Девятиэтажек было немного, мы могли сосчитать их. По ним, как по высоким деревьям, ориентировались: та, где ЖЭК, та, где книжный магазин, та, где парикмахерская, та, которая за больницей, её видно из окон хирур-

гии, и тоскливо, наверное, лежать после операции и смотреть на свой собственный дом, и три девятиэтажки — в рядок, на бабушкиной улице Михалькова, вот так, с мягким знаком. От девятиэтажек ступеньками отскакивали пятиэтажные дома, кое-где стеснялись двухэтажные, с круглым чердачным окном под крышей. А на старых узких улицах, бегущих вдоль Московского шоссе, мелкой щебёнкой были накиданы частные дома, без водопровода.

Я подошёл к девятиэтажкам. Смотреть на них было приятно и немного грустно, потому что там жили лучше, чем мы: лифт, большие кухни, цветной телевизор на холодильнике (это я видел у моего одноклассника Лёши, когда был у него в гостях). На застеклённой лоджии третьего этажа всегда чистота и порядок, а на таком солнце — загляденье. К потолку подвешены отдыхающие корзины. За девятиэтажками — бабушкин дом в дополнительной яме, из-за которой он казался братом-дошкольником. На боковой стене у него краснокирпичная надпись — 1984 г с щепетильной (ну буквально четвертинка кирпича) точкой. Мне нравилось замечать её каждый раз, когда я подходил к дому.

И — надо же! — бабушка выворачивает с другими женщинами из двора. В этой встрече есть что-то удивительное и даже красивое, словно кто-то предусмотрел нас заранее. Мне приятно и весело от этого, и бабушка, я вижу, тоже радуется.

— Мы с женщинами, — впервые говорит бабушка, — хотим прогуляться по лесной дороге. Пойдёшь с нами?

С бабушкой — Вера-певица, ведьма Настя, Евдокия, каждая улыбается мне. Я очень хочу с ними, поэтому, конечно, соглашаюсь.

— Оставь портфель дома, — даёт бабушка ключи, — и догоняй нас. Мы потихоньку пока пойдём.

Я бегу через двор, быстро, как будто поджаривает пирог, поднимаюсь по ступенькам, с приятным чувством преодолеваю непривычную (мне редко доверяют ключи) сложность замка, анонсом вижу солнечную (окна на юг) бабушкину квартиру, но не приглядываюсь, всё это потом, кидаю портфель, разгадав (надо потянуть на себя), запираю дверь и с радостным предчувствием сбегая по ступенькам, нетерпеливо, с заносом, огибаю дом и вижу четыре удалившиеся спины, которые от моего стремительного бега быстро увеличиваются.

Все четверо выглядят нарядно — монументальный драп, от коричневого до тёмно-бордового. У женщин из воротников просятся платки, серенькие, пушистые. У бабушки — мохеровый шарф, как у отца. От одного взгляда на него у меня чешется горло, а бабушка из-за мужского шарфа кажется сильной и крепкой. У Веры и Насти — косичкой вязанные яркие береты, как будто они купола Василия Блаженного. У бабушки — гордая каракулевая шапка. У Евдокии — сонная поседевшая норка с заплешинной сзади.

Грязь улицы отступает, остаются ждать нашего возвращения пятиэтажки, начинается белая лесная дорога. Здесь не ездят машины, только

трактор неаккуратно чистит снег, сваливая его на обочине. В конце дороги (тут трактор, всё-таки стараясь, делает завиток) — забор, железные ворота, крикливые свободолюбивые собаки. Ворота никогда не открывались, а что за забором — я всё время забывал, хоть и часто спрашивал. Поэтому там просто конец мира, лающая пустота, дойти и развернуться. По этой дороге мы ходили туда-сюда именно зимой. Садовым летом — не до того, всюду прорастала, выгнувшись, жизнь, и ситцевые приусадебные женщины ухаживали за ней: пусть всего лишь клумба под окном, а спину погнуть придётся. А вот зимой гуляли — в мороз, против снега и ветра, преодолая. Гипертония, артрит, болезни ЖКТ, но всё равно накладывали на себя килограммы зимней одежды, чтобы пойти в своё предобеденное паломничество и, проголодавшись, вернуться.

— Я курицу не покупаю, с кубиками варю, — говорит ведьма Настя, — и получается экономно, солёненький, жёлтенький такой бульон.

Настю во дворе не любят, называют ведьмой и поэтому молча осуждают её за то, что она только из кубика, без курицы, жадная.

— А я нажарила минтая вчера, хватит на три дня. Сколько там мне надо этого минтая, — говорит Евдокия, подчёркнуто одинокая.

— У меня суп есть всегда, — повторяет сказанное много раз Вера, и я уже предчувствую, как мы с бабушкой будем сплетничать о ней. — Сын без первого не может. Мамочка, говорит, какой сегодня супчик?

Вера улыбается, но сын её усатый, с красным лицом и часто пьяный.

— Даже картошку третий день ем, — грустит Евдокия.

— А я сварила крестьянский. Юрочка любит, — говорит бабушка, и я действительно люблю.

Лес будто специально был поделён: с одной стороны перемешались ёлки, берёзы, осины, а с другой — только торжественные промороженные сосны. «В берёзовом лесу резвиться, в сосновом молиться, а в еловом удавиться», — говорила бабушка со слов своей бабушки, ещё более мудрой, давно мёртвой. Но это летом. А зимой всюду храм, всё хрупкое, белое, стеклянное, кое-где чёрно-зелёное, если накануне был сильный ветер. Но и среди белой зимы вспоминалась такая летняя история: как-то вот тут, в берёзках, к Вере, пока она грибы брала, подкрался мужик. Вера не сразу его заметила, а как что-то зашуршало и она подняла голову, так и заорала: мужик стоял с расстёгнутой ширинкой и тряс, здесь при пересказе делалась пауза, намекающая на конкретное слово. Вера убежала, не растеряв, правда, грибов. Но домой пришла и разобрал смех: «Мужик хером напугал!» С тех пор, как только я видел эту рожицу, выскакивала Верина со смехом фраза «хером напугал» и даже показывался рисунок, который вырезали иногда на партах в школе: длинный и два круглых.

— Давайте посидим, женщины, — предложила бабушка, артрит коленного сустава.

Ближе к воротам около дороги лежало большое дерево со счищенной корой. Было известно, что у Евдокии геморрой, поэтому она не садилась, а вставала напротив нас, и со стороны могло показаться, что она поёт нам.

— Вчера так ныло колено, — говорит бабушка, — я его всё растирала, а потом плюнула и выпила водки, натрескалась картошки с селёдкой.

— А у меня кот не ест, — говорит ведьма Настя, — второй день уж.

— У меня так Маркиза не ела неделю и умерла под кроватью, — встаёт с носка на пятку Евдокия.

Оттого что кошки не едят и умирают и потому что не принято сочувствовать ведьме Насте, мы все замолкаем на несколько минут. Слышен только скрип под галошами Евдокии, которая делает зарядку (носок — пятка), и гул далёкой автомобильной трассы. Это за гаражами, за лесом — шоссе, большая полноводная автодорога «Волга», по которой машины едут в Москву. Там единственный в нашем посёлке светофор, мы пользуемся им, когда идём в библиотеку или в сад. На трассе всё всегда грохотало и стонало с какой-то целью, с прицепом, и этот шум напоминал нам, что где-то делаются большие дела. А для чего был этот заброшенный участок дороги перед закрытыми воротами? Для чего сидели мы вчетвером, разноцветные, на дереве перед раскачивающейся Евдокией? Конечно, всё это — только для красоты, больше ни для чего. Особенно в такой солнечный день. Прощлые выходные были оттепельные, тревожно

кричали птицы, чёрными стаями выводили фигуры над деревьями и как будто куда-то звали или напоминали о чём-то, а помнить не хотелось. Но сегодня, в морозное солнце, всё стало ярче и понятнее. Подвисшие мягкие лица бабушкиных женщин покраснелись и расправились. Евдокия уж какая была бледная, седая старуха, и та порозовела и подтянулась, у Веры красные, яблочные щёки. У бабушки яркие карие глаза, шапка чуть сползает на лоб, она её поправляет и улыбается. Лица ведьмы Насти я не вижу, на нём, наверное, надвигающаяся смерть kota, но варежки у неё чёрные, с вишенками, которые каким-то удивительным образом получают из крестиков ниток. Только для красоты.

— Ну что, сидеть хорошо, — говорит бабушка, начиная подниматься.

Мы все встаём, идём до ворот и обратно, за деревьями виднеются наши дома. Потом решаем, что можно сходить ещё раз, погода хорошая, хоть и холодно. Понятно, что женщины проголодались, потому что снова говорят о еде, открывают мысленно холодильник и присматриваются: у Веры винегрет с солёными огурцами, котлеты остались, бабушка собирается поджарить путасу, а сверху луку, Юрочка любит, и я действительно люблю, ведьма Настя сардельки из Москвы привезла, два килограмма, и приморозила, у неё большой ведьмин морозильник, которому все завидуют. Евдокия не ужинает, только чай и два бутерброда с сыром, и вчера её так захотелось печенья, что она маслом помазала и соединила.

— Это «Юбилейное»? — спрашивает Вера.

— Да, — говорит Евдокия.

— Да да нет да, — шутит бабушка.

Женщины смеются.

— Так они надоели с этим *да да нет да*, что даже идти не хочется, — говорит Евдокия.

— Как не идти, — удивляется Настя, — я схожу и проголосую везде «нет».

— Так везде-то не надо, надо наоборот голосовать, — убеждает бабушка.

— Да назло одни *нет* поставлю и всё, — упрямится Настя и смотрит вредным взглядом на лес.

— После того референдума я на новый не пойду, — говорит Вера. — Развалили страну, а теперь спрашивают, поддерживаем ли мы. Глаза бы мои на их рожи не глядели. Женщины, что-то ноги замёрзли у меня.

— Ну пойдёмте обратно, — соглашаются все.

У Веры протёрся валенок, поэтому она в сапогах, а сапоги, конечно, так не греют. У ведьмы Насти совсем тонкие рукавички. У меня пальцы ног замёрзли и начали колотиться.

Как только лесная дорога закончилась, все напряглись и по нахоженной, накатанной улице пошли внимательно, тщательно, почти брезгливо выбирая, куда наступить, чтобы не упасть. Лёд острой болью отзывался, и нужно было осторожно нести свою хрупкую, бящуюся старость. На прошлых выходных наделало шуму падение Дмитриевны (имени не было у неё, только отчество с намёком на собор, и фигура в зимнем пальто соборная — маленькая голова, широкие

плечи): Дмитриевна гуляла с Галиной Андреевнй и вдруг поскользнулась. Она взмахнула руками, попыталась выровняться, но уже не смогла и упала на спину, шапка отлетела. Дмитриевна лежала и думала, не поломала ли чего, над ней ещё это серое тревожное небо прошлых выходных, под которым особенно грустно и даже скучно лежать. И потом началась постепенная реставрация Дмитриевны: она перевернулась на бок, встала на колени, сделала несколько шагов на коленях за шапкой и только тогда по палке Галины Андреевны подтянулась, поставила шапку обратно, долго отряхивалась, дома растирала меновазином копчик и левый локоть. Самый сложный участок — спуск во двор, тут шли лесенкой, как лыжницы. На подошвах сапог у Веры наклеены крестами белые пластыри, чтобы не скользили и чтобы крестным как будто знаменем благословляли каждый зимний шаг, у бабушки на галошах — вообще наждачная бумага, отец принёс из гаража, а бабушка наклеила «Моментом», у Насти и Евдокии по палке — старичок из третьего подъезда им срезал орешник. Пока спускались, взмокли.

— Ну, женщины, до завтра, — говорит бабушка, — пойдёшь внука кормить.

Женщины улыбаются и прощаются, а Евдокия почему-то хвалит меня: «Юрочка умница!» Мы с бабушкой сворачиваем к подъезду, ступеньки скользкие, опасные, но присыпанные песком. Мы входим в подъезд и тут же чувствуем, что всё, на сегодня холод закончился, теперь будет тепло. Бабушка спрашивает, проголодался

ли я. Но я не успеваю ответить, потому что из темноты лестницы на нас выплывает Лидия Сергеевна, которая живёт прямо под нами на первом этаже. Мы не любим встречаться с ней, говорит она медленно, тихо, старым-старым голосом, щёлкая челюстью. Дождаться конца её речи невозможно, да и непонятно, есть ли у той речи конец. Если мы слышали шевеление за дверью Лидии Сергеевны, мы старались побыстрее проскочить на улицу или помедлить и, пока она выползает из подъезда, не спускаться. Однажды мы прятались от неё у почтовых ящиков. Но тут Лидия Сергеевна нас поймала. Светлый пуховый платок на голове, под ним жёлтые кудри, неровно-розовые губы, припудренное лицо, огромное пальто, из которого она выглядывала, как из шкафа — из-за всего этого бабушка называла её мышь с муки.

— Гуляли? А я пойду купить хлеба белого, мне нужно для котлет, — начала Лидия Сергеевна, вглядываясь в нас, — решила сделать котлет, фарш у меня лежит давно...

При Лидии Сергеевне мы всегда как будто опаздывали, и бабушка уверенно стала обходить её:

— Сходите, конечно. Там под снежком скользко, имейте в виду.

— Скользко? — испугалась Лидия Сергеевна и сделала движение челюстью.

— Ну вы осторожненько.

Бабушка стала подниматься по лестнице, но Лидия Сергеевна сказала тише и доверительно, тоном показывая, что теперь важная тема:

— Всю ночь кашлял, почти не спала. И Митя разбитый утром.

От этого уже быстро не уйдёшь, и бабушка остановилась: у Лидии Сергеевны и её мужа Мити в прошлом году вернулся из тюрьмы сын. Теперь он болел туберкулёзом, пил водку, быстро, капризно пьянел, кричал. Мы иногда слышали эти крики, делали погромче телевизор.

— Вот на старости лет, Лидия Сергеевна, да?

— Никогда не думала, Галина Сафроновна, — в первый раз произносит бабушкино имя Лидия Сергеевна. — Что они там делают с людьми в этих тюрьмах, ведь он не был таким. Ну пил, конечно, но после тюрьмы — как подменили.

— Тюрьма ломает людей, — делает бабушка завершающий шаг. На лице Лидии Сергеевны появляется недосказанное, оборванное выражение: почему снова недослушали её? И она попыталась ещё:

— А теперь ведь сигареты каждый день по пачке. При таком кашле курить-то разве можно? Я говорю ему: ты хотя бы молоко пей, хожу два раза в неделю по бидону приношу. Ну это хотя бы пьёт, по стакану за раз.

Мы поднимаемся дальше, от почтовых ящиков, где не видно, бабушка машет на неё рукой и говорит притворно бодро:

— Молоко — это очень хорошо!

Лидия Сергеевна стоит внизу, по-рыбьи открывая челюсть, хочет ещё сказать, но мы больше не слушаем.

Бабушка отлила суп в ковшик и зажгла газ. И все замёрзшие женщины делали сейчас то же

самое: разогревали в ковшике, кипятили в чайнике, включали радио, растирали меновазином, и тепло во всех этих квартирах наполнилось, раскачивалось и пахло. И только после мороза (двадцать колючих пальцев) и после учебной школьной недели так ясно, будто протёрли очки, видна бабушкина квартира, тёплая, с подстеленными половиками, комната восемнадцать квадратных метров, диван и кровать, пол — волнами, потому что строители украли доски (так говорили) и постелили какую-то аббревиатуру (двп, дсп?), которая, конечно, взбухла и погнала скрипучую волну. Жёлтые занавески, провисшее сачком кресло, пледы (зелёные квадраты на чёрном и жёлтый, колючий), чёрно-белый новый телевизор и чёрно-белый старый, накрытый, как саваном, кружевной салфеткой. Я приподнимаю занавески, чтобы положить руки на батарею, пахнет сухим теплом. Хочется сразу открыть шкаф, тумбочку, достать карандаши из старого дипломата, игральные карты из плетёной шкатулки. И с чувством, что я скоро всё это открою, и только три часа дня, так много впереди, я иду на кухню.

Бабушка стоит у окна, ждёт, пока согреется суп, яркое зимнее солнце. Я знаю, что у бабушки ещё прохладные после улицы щёки. Неловкое детское счастье бьёт немного мимо цели, и вместо каких-то других слов я спрашиваю, пришло ли письмо от тёти Муси. И бабушка, помешивая, отвечает, что пришло и лежит на тумбочке. Я приношу конверт и сажусь читать. «Почитай вслух», — говорит бабушка. Я читаю: «Милая моя сестричка Галочка, здравствуй!» Я смотрю на бабушку, примеряя к